РЕКА И СВЯТОЙ

К 85-ЛЕТИЮ О. Г. ЧУХОНЦЕВА

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

С ним посчастливилось говорить немало, иногда часами, и кажется, в его стихах – его манера общаться: все начинается туманно, он смотрит искоса и как бы немного иронично, кривит рот, поправляет очки, его движения замедленны, разговор вязнет, норовит отползти в немоту и так неспешен, будто здесь какой-то подвох и намек, и вдруг речь вспыхивает, разгорается, он делается красноречив и словоохотлив, слово цепляется за слово, уже никак не поставить точку, и наконец, все обрывается на полуслове, поэт замолкает.

Да, даже за лихорадочным потоком в тех же его поэмах – все равно какая-то метафизическая медленность.

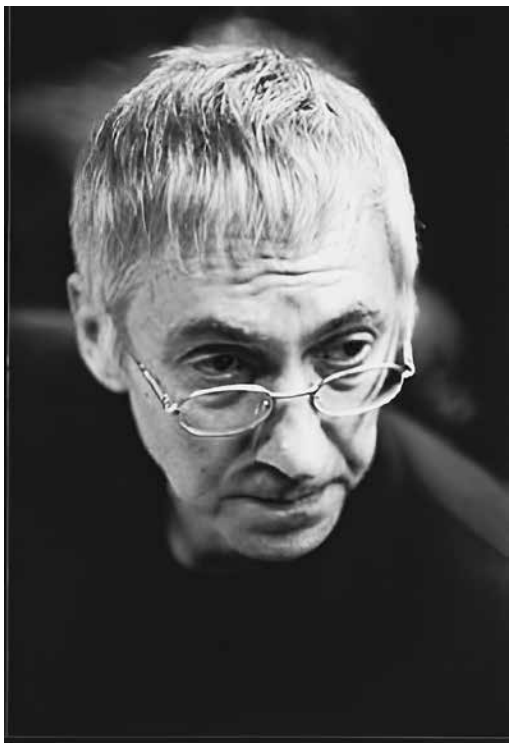
Неспешность Чухонцева – разумеется, антитеза суетности. Он выбрал посвятить себя целиком стихосложению, уйти в поэтический затвор. Выбор тем ценнее, чем меньше ему удавалось публиковаться долгие годы. Чухонцева прятали от читателя, но еще сильнее было и остается его собственное желание прятаться. Его годами не печатали, но и он сознательно может не печататься годами. Он прекрасно читает стихи и замечательно выступает, однако не без гордости заявляет, что встречался с публикой считаное число раз. И до сих пор то и дело едко вспоминает тех, кто когда-то эстрадно декламировал на стадионе. Это не ревность, но соперничество очевидно, пускай и добродушно-снисходительное. В одном из его стародавних стихотворений есть пародийный монолог наивной женщины:

...Я вообще люблю литературу,
вот где балдеешь, взять хоть Лужники,
народу туча, нет пустых скамеек:
прожектора, поэты, пирожки
с повидлом по одиннадцать копеек...

Чухонцев попал под запреты после опубликованного в «Юности» в 1968-м «Повествования о Курбском». Ему прилетело за крамолу. Но его лирика, даже та, где социальный нерв, где страдальческие судьбы павловопосадской родни и простонародья, что в его случае одно и то же, все равно вне времени. Когда надо сказать о здесь и сейчас, пространство оказывается затемнено и речь затруднена, и эта честность выше, чем любая гражданская – она поэтическая:

Я люблю свою родину, но только так,
как безрукий слепой инвалид.
О родная страна, твоя слава темна!
Дай хоть слово сказать человечье.

Черты быта и эпохи подаются им как суетливо спешащий по мусоропроводу хлам, обвал картин в сновидении, но дальше обязательно наступает фаза глубокого сна – то обморочное состояние, в котором настоящее таинство поэзии, та немота,



которая и дает импульс всему и которую труднее всего выразить словесно. А он может. «Речь молчания» – неслучайное название одной из книг.

Стихи, написанные им и в советское время, и в антисоветское, и недавно, одинаково сильны этой глубиной, они могли возникнуть и в Античность, и в Средневековье.

Проходит все, и только остается
неслышный шелест, только шум в ушах...

У Чухонцева разговорность речи, где нет нажима и надрыва, никаких красивостей и эффектных финалов, которых он бежит как пошлости. Изъясняясь просто, он при этом никогда не бывает банален, равно чураясь вычурности и штампа.

Разговорная речь, незаметно переходящая в молитвенный речитатив, а дальше и вовсе в шелест талого снега.

Вообще, разговорная естественность родственна с тишиной, рождается из тишины, купается в тишине, в тишине тонет, и это замечаешь, читая Чухонцева.

Он благодарит жизнь «за неуспех и за пример зла не держать за душой» и, действительно, живет очень скромно (покосившийся переделкинский забор, прохудившаяся крыша). Он вдумывается в природу и умаляет себя, тем впуская и вмещая бескрайний Божий мир. Убогий Чухонец. Тот блаженный из его знаменитого стихотворения, который мочится в реку (какой точный образ: таково нежное журчание этой поэзии), пока изо рта просится таинственный пароль немоты:

– Кыё! Кыё!

Тот, кто принимает все с самоотречением ведающего тайну власти, как из последних становятся первыми.

Надо завтра нарезать цветов и проведать своих.
А прохладно, однако... И все-таки невероятна
эта жизнь, если в корень глядеть. Каждый шорох
и штрих.
Вот и дети уже подросли. Не твои. Ну да ладно.

И конечно, про Чухонцева толстовское «в искусстве все чуть-чуть», но вместе с тем стихи эти непросты, многозначны, психологичны, каждое хочется перечитывать по многу раз, разгадывая. Иной раз справляешься со словарем, иной раз голова кругом, например, когда у одной реки столько имен: Иордан, Флегетон, Лета и даже Вохна.

Сознаюсь: лично я не могу запомнить ни одно его стихотворение наизусть, остаются в памяти только отдельные слова и строчки, но и в том странная обаятельная сила, утекающая сквозь тебя, и при возвращении к стихотворению понимаешь, что оно уже другое, чем то, которое читал только что, та же журчащая и студеная, но другая вода.

Как? Почему?

Тайна недосказанности.